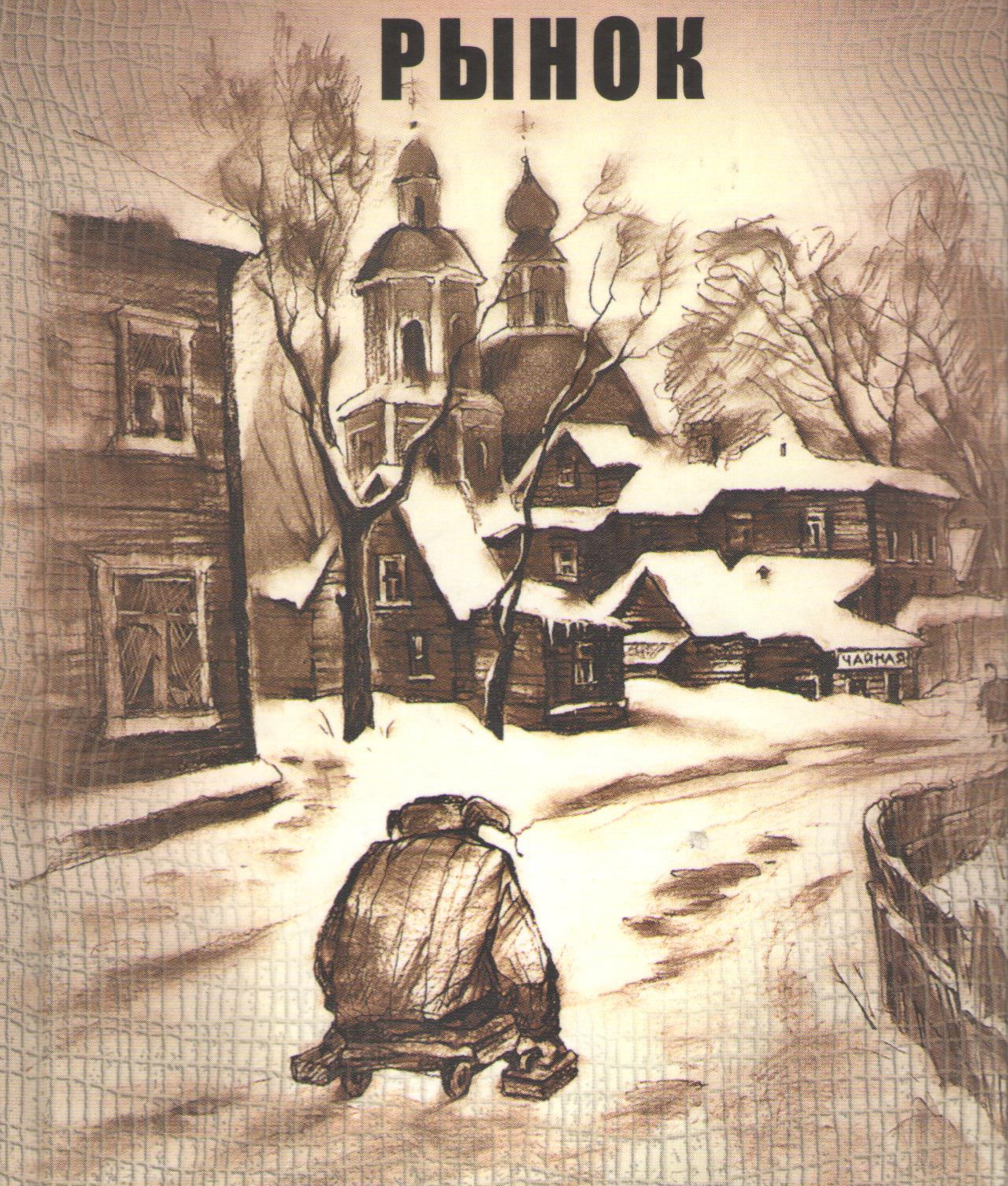
ВИКТОР ШВАРЦ

ИНВАЛИДНЫЙ РЫНОК



Виктор Шварц

ИНВАЛИДНЫЙ РЫНОК

поэма

Москва
2005

ББК 84(2)-5
Ш 33

Художник *Олег Васильев*

Шварц В.И.
Ш 11 Инвалидный рынок. Поэма. - М., 2005. - 48 стр.

15ВЫ 5-901141-38-5 **ББК 84(2)-5**

I5BN 5-901141-38-5

© Шварц В.И., 2005 г.
© Васильев О.А., 2005 г.

Фантомная боль поэта

Предисловие к поэме Виктора Шварца «Инвалидный рынок»

Таких стихов сейчас уже не пишут. И так не пишут. Все больше Пастернака перепастерначивают, Мандельштама перемандельштамывают, а еще пуще Бродского переписывают — быть может, в надежде получить Нобеля... Вот и получается: настоящих поэтических голосов нет не только среди молодых, но и людей уже поживших. Почему? Быть может, потому, что столько было пережито в последние десятилетия, что чувство сердечной боли о кажущемся далеком прошлом — особенно послевоенном, после Победы в 45-м, как бы поутихло. Да и что, мол, писать о прошедшем 60 лет назад, когда болит, взрывается и кровоточит сегодня...

Но корни-то этой боли, этих нынешних трагедий там, в прошлом. Именно это и понимает Виктор Шварц. Впрочем, его новая поэма — не только о прошедшей Великой Отечественной и о наших военных и послевоенных потерях. Она и о сегодняшнем дне, и о потерях наших сегодняшних. И образ Инвалидного рынка — это образ нашего сегодня, хотя бы потому, что и сегодня в госпиталях страдают внуки тех, кто искалеченным вернулся с войны в 45-м. Те, кто стал

жертвой бездарной бойни в Афганистане, бесконечно продолжающейся «контртеррористической операции» в Чечне. И потому все еще работает на полную мощь «протезный завод», поставляющий свою горькую продукцию то в Волгодонск, то на Дубровку, то в Беслан...

Повторюсь: таких поэм сейчас не пишут. Поэты ушли в себя, в глухую защиту, многие из них эстетствуют, а время кричит от боли. Поэтическая же работа Виктора Шварца иная — она пропитана, как бинт, кровью соотечественников. Она вся — из самых что ни на есть настоящих слов, зримых, детально осязаемых. Порой грубовато резка, реальна до искривления рта от натуралистичности. Но эта поэма написана жизнью, судьбой автора, его отца, его близких людей. Сейчас так не пишут и не напишут, ибо молодые не курили злой «беломор», не видели убогость послевоенного быта, не стриглись под полубокс в затрапезных парикмахерских... Они не очаровывались временем и не пережили крах той самой веры, именем которой, отмеченной кровавой диктатурой Сталина, миллионы были загнаны в лагеря и уничтожены... Так может написать только человек, в чью плоть и кровь вошла послевоенная эпоха, обладающий самым главным качеством для художника — фантомной болью. Это когда болит то, что физически уже не существует. Поэт или прозаик только тогда может выразить время, если его стилистика не подделана, а искренне настоящая, кровно связан-

ная со временем и людьми, живущими в этом времени. Так вот, стилистика Шварца именно такова, что его стихам начинаешь верить с первых строк.

И еще в этом произведении очень важен дух. Дух эпохи, который передан через детали так, что невозможно обмануться.

И как это хорошо, что поэма написана неровным аритмичным свободным стихом, как бы отрицающим чистоту рифм и сравнений. Но эта форма, которая диктует содержание, на мой взгляд, единственно верная. А верная потому, что самые пронзительные, самые искренние строки поэт нашел прежде всего для себя, о себе. Именно это чувство — искренность — и держало его на земле тогда, как, наверное, впрочем, и сейчас.

...И казня себя, и терзая,
Я любил ее, эту Клавку,
Ничего о любви не зная.
И казался себе я рыцарем,
И, от смутных чувств пламенея,
Был готов защищать эту рыжую,
Эту, в цыпках всю, Дульцинею...

Именно это чувство — чувство любви в самом широком смысле этого слова, помогло разглядеть Шварцу и наше настоящее — для одних пропитанное духом мерзкой наживы, для других — нищее и убогое, но ударяющее в нас без, выбора, в каждого, кто сопричастен нынешней эпохе. Не потому

ли сегодня

Мы все инвалиды — ума или совести,
С рукою, протянутой в сторону Сороса...

Отсюда и недоумение поэта, пронизывающее его произведение: зачем все это было — и Сталин, и лагеря, и война, и жертвы, и Инвалидный рынок, где спивались и уходили на жалких культяпках в смерть те, кто своей жертвенностью, своим высоким подвигом заслуживал лучшей доли. А ведь беда не кончилась, она продолжается...

Давно Инвалидный разрушили рынок,
Но снова приходят с войны инвалиды...

И спрашивать незачем: с какой войны? Она как будто бы и не прекращалась в нашем отечестве — вплоть до сегодняшнего дня. Но эта война, эти войны — не только там, где стреляют, убивают или калечат наших мальчишек. Есть еще одна война — гражданская, которая идет вот уже около двадцати лет в нашем обществе: между сторонниками либеральных идей и тоталитаризма. А ведь когда-то казалось: с Великой Отечественной победители вернутся не в тоталитарное государство, для которого человеческая жизнь — копейка, а в общество, которое во главу угла ставит человеческое достоинство, свободу, уважение прав личности... Не получилось...

И еще очень важны в поэме ее два героя — мальчик и его отец. Мы, именно мальчишки, в детстве как-то недодаем своим отцам любви, нежности: может быть, стесняемся, а может быть, они слишком рано уходят... Признание в любви к отцу, когда ты сам уже воспитываешь сыновей, многого стоят. Прочитайте главку о том, как отец и сын приходят в послевоенную парикмахерскую — она трогает до глубины души. Многие, наверное, испытали похожие чувства в детстве. Но откуда в поэте это достоинство, эта взрослость — уже тогда: «Были с ним мы почти на равных, оба двое — два мужика...». Откуда? Да от отца же: фронтовика, блокадника, сумевшего, очевидно, заложить в сына тот стержень, который позволяет ему сегодня и жить достойно, и писать достойные, не на потребу времени и власти,стихи.

Поэма тем еще хороша, что она не назидательна. Виктор Шварц — художник. Он рисует картины, а не описывает события. Причем картины настолько правдивые, что, прочитав «Инвалидный рынок», хочется молчать. И думать, думать, думать...

Александр ТКАЧЕНКО,
писатель, вице-президент
Русского ПЕН-центра

Отцу моему - солдату и инвалиду, награжденному медалью «За оборону Ленинграда», и умершему в 57 лет от дистрофии, полученной в блокадном городе, — посвящается.

Пролог

В тот год, когда стал Сталин плох,
Мне было три — совсем немного.
И та, большой страны, тревога
Не вызывала страшных снов.
Все было тайной, все внове:
Снежинки нежное касанье,
Тугое бабушки вязанье,
Каток, залитый во дворе.
Я познавал чудесный мир,
Где не было войны и боли,
Открытый, как ромашек поле,
Простой, как жизни первый миг.
Улыбка мамы, бас отца,
Сосок, от молока набухший, —
Мир легок был, как шар воздушный,
Но не понятный до конца.
И прорастая на Земле,
Я ощущал почти с пеленок,
Что этот мир — большой ребенок,
Растет со мною и во мне.
Он полнился день ото дня,
Но открывалось в нем иное —

И беззаботного покоя
Трещала хрупкая броня.
Так узнавали мы беду,
Страх,
Слез нежданных солонину,
И чью-то согнутую спину,
И чью-то горькую судьбу.
Жестокость в подворотнях драк,
Опасность финок, фикс, подставы
Несправедливые расправы,
И «беломорин» злой табак.
О, детство — чистая тетрадь,
Куда писали без оглядки
Мы все, что тайно, что украдкой
Нам доводилось узнавать.
Но тайной тайн тех юных дней
Была одна — она манила,
Она пьянила и дразнила
Недостижимостью своей.
Был запах крови в тайне той,
И запах плоти, запах злобы,
И сладкий запах свежей сдобы,
И запах яблок золотой.
Там, как во тьме кривых зеркал,
Мир по-иному отражался,

Таким пугающим казался,
И в то же время привлекал.
Вывертывая жизни дно,
Он никому не делал скидок...
Он звался «Инвалидный рынок».
Он — память детства моего!

КИЙ ФЛОТ

1.

Пять лет назад салюты отгремели.
Над миром бал свой правила весна.
И тех, кто в страшной драке уцелели,
Встречала в мае пьяная Москва.
Она была пьяна от шума улиц,
Кистей сирени у Москвы-реки,
И оттого, что мужики вернулись,
Желанные до боли мужики.
И шли они по площадям и скверам,
В начищенных медалях напоказ.
И каждый был манящим кавалером,
Пусть не на жизнь. Пусть на ночь.
Пусть на час.
Любовь крутилась, словно ветер звонкий,
Шампань с ликером, сладких струек слив.
И плакали сопливые девчонки,
Что до любви еще не доросли.
Парад Победы... В дар судьбы не веря,
Шел взвод за взводом, вспугивая птиц.
И Сталин улыбался с Мавзолея
Им,пол-Европы положившим ниц.

А во дворах шалели патефоны
И самосад смолили пацаны,
И шли, и шли солдатские вагоны
С той, в мае отстрелявшейся, войны...
Я подрастал... Солдатские шинели
Сменила тяжесть драповых пальто.
Посаженная пленными аллея
Густилась у метро «Аэропорт».
Домашний мальчик, я был тих и скромен,
Меня манил мир пожелтевших книг,
Которые везде лежали в доме,
И я бездумно погружался в них.
Великий мир Майн Рида и Уэллса,
Айвенго, Моби Дик и Робин Гуд...
Добро одолевало там злодейство,
Верша над палачами правый суд.
Мечи бряцали, кони ржали звонко,
И дружба мушкетеров в путь звала.
И юная прелестная девчонка
Любви напиток колдовской пила.
Кудрявый книжный мальчик... Малолетка...
Я видел солнце, но не ведал тень...
Но как-то раз в игре теней и света
И мне достался тот особый день...
Мы во дворе с утра мотались с Мишкой,

С дружочком из квартиры № 5.
Был этот Мишка заводным парнишкой,
И кое-что придумал он опять.
«Айда на рынок!» — «Что еще за рынок?»
«Увидишь сам. Он здесь, недалеко...»
А был тот рынок, Инвалидный рынок,
Почти что у метро «Аэропорт»,
Где жили мы. И на запреты плюнув
Не выходить из нашего двора,
Мы, оба два балбеса с Мишкой юных,
Туда рванули. Горе — не беда...

Отступление 1.

Черный госпиталь

...А еще говорили, еще говорили
Пацаны, собираясь под ночь во дворе
(Может, байки травили, пули на уши лили),
Что есть тайное место где-то в наше стране.
То ли госпиталь там, то ли просто болница,
За колючею проволкой он стоит в тишине.
И, мол, свозят туда из советской столицы
Всех, кто ноги и руки потерял на войне.
Свозят их отовсюду — обрубки людские,
Изошедшихся в крик от фантомных болей.
Защищавших Россию, красивых и сильных,
И бессильных в своем положенье теперь.
Коек им не положено. И висят по палатам
Инвалиды в мешках. Что им койки стелить?
И хожалки — медсестры этим бывшим
солдатам
Щи и кашу приносят, чтобы с ложки
кормить.
А бывает, и дрочат... Мужики же ведь все-тки,

Хоть без рук и без ног — все равно мужики.
Льют по праздникам водку прямо в самую
глотку,
И слезу утирают с небритой щеки...
Он мне снился, тот госпиталь — из легенды
иль были,
В душных снах, отзывавшихся болью
в висках.
Снились те, кто когда-то солдатами были,
В этих черных, мочой провонявших мешках.
Нет, о них не писали в мемуарных записках,
Полководцы лихие к ним не шли на поклон.
Их без вести пропавшими числили
в списках,
По приказу Вождя свой скрывая позор.
И, ликуя, страна становилась все краше,
И махали флажками с трибун у Кремля,
Заглушая оркестров победными маршами
Боль войны, от которой стонала земля.

2.

В 30-х наш дом построили,
Отдельно благоустроили,
Отдельно горячую воду
Пустили на зависть народу.
Отдельные были квартиры.
Отдельные были сортиры —
Все, как обещали начальники:
Сбылись вековые чаянья!
А на соседней улочке,
Как будто не тверезые,
Домишки низкорослые
Лепились под березами.
Моя подружка Клавочка
Жила там с мамкой-пьяницей.
И керосин из лавочки
Таскала ей по пятницам.
А папка сгинул без вести...
Соседки вроде слышали,
Что с продавщицей Веркою
Осел он, гад, в Камышине.
Их бросил и отчалил он,

А каково быть брошенной?..
И мамка пьет с отчаянья,
А так она хорошая...
По дороге, от пыли гладкой,
Шли мы к рынку вместе с Мишаней.
Мы с собою взяли и Клавку.
Что, она нам там помешает?
Девка бойкая, хоть и малая.
Жизнь таких леденцами не крестит.
Вон ведь как управляется с мамкою:
Та ей слово, а Клавка — десять.
Ну, бывает, хлебнет мамка лишку.
Не пошлешь же такую к черту?
И была она не из книжки —
Эта девочка с рыжей челкой.
Руки в цыпках, чулки в заплатках.
И казня себя, и терзая,
Я любил ее, эту Клавку,
Ничего о любви не зная.
И себе я казался рыцарем,
И, от смутных чувств пламенея,
Был готов защищать эту рыжую,
Эту, в цыпках всю, Дульцинею.
Я таскал ей конфеты из лавки,

Приносил про кино журналы.
И не знал, что дома у Клавки
Часто хлебушка не бывало.
И она, чтобы мамка-зараза
Из-за водки ее не била,
В рот брала у соседа — завбазой.
В первый раз ей одиннадцать было...
Он давал ей трояк — тварь тщедушная
А еще твердил, чтоб старалась.
Мамке было как раз на чекушку,
И на закусь еще оставалось...
Полной чашей хлебнув романтики,
Сладких сказок отраву изведав,
Мы не чаяли, книжные мальчики,
Тех времен настоящие беды.
Голодуху по стылым деревням,
Плач младенцев по мамкиной сиське.
Им кору обрывали с деревьев,
И варили крапивные листья.
Крепдешины бухие пижоны
В ресторациях с бабами мяли.
Но ползли по России вагоны
С обезумевшими матерями.
А на дачах у маршалов — танго,

А столы — в ветчине и шампани.
А у Клавки моей — сука-мамка
Водку трескает в грязном стакане.
И ревели в клозетах газеты:
Мол, прославим делами Отчизну.
И висели большие портреты
Тех, кто вел нас вперед, к коммунизму.
И сияла, как елка в сочельник,
Жизни нашей цветная картинка...
И влекло нас, троих, приключенье —
Мы ведь шли к Инвалидному рынку.

Отступление 2.

Баллада о докторе Арканове, написанная в честь его 70-летия

Друзей юбилеи — печальная штука.
Особо, коль дружба почтенного стажа.
Все те же улыбки и старые шутки,
И лица все те же, и водка все та же.
И вновь в юбилей твой шумели газеты,
ТВ суетилось: а как же — сатирик.
И пели куплеты, и были банкеты,
И водка была, и блевали в сортире,
А мне вспоминалось иное. Простишь ли?
Морозы за тридцать, буран колобродит...
Молоденький доктор в кургузом палтишке
Свой, Богом забытый, участок обходит.
Как странно, но там, где я рос и учился,
Работал и ты, медицинский закончив.
Жаль, встреча у нас в те года не случилась,
Нас возраст развел лет на десять заочно.
А псы за заборами лаяли гадко,
И домики малые в землю врезались.
И где-то в местах тех жила моя Клавка,

И граждане в докторе очень нуждались.
И было средь них инвалидов немало,
Кто мучился ранами, кто — от похмелья.
И доктора — где там! — на всех не
хватало,
Да доктор и сам был почти на пределе.
Безногий калека рвал простынь от боли,
Отхаркивал легкие зэк возвращенный.
И пахло мочой, стариками и горем
По всем коммуналкам перенаселенным.
Мальчишка молоденький, сколько
страданий
Он видел, цепляясь за ниточку пульса.
Хороших лекарств ему не выдавали:
Мол, пирамидоном пускай обойдутся.
Ему коньяков и цветов не дарили.
Откуда их взять-то — на хлеб не хватает...
...Был вызов обычный, когда «пневмония» —
Диагноз девчушке той доктор поставил.
Она на кроватке в жару разметалась,
Трехлетка с глазами, ушедшими в небыль.
И знал, что ей жизни полвздоха осталось,
И в горьком бессилии истину ведал...
Главврач равнодушно хлебнул из стакана:

«Спокойней, коллега, тут все мы невро-
тики.
Примите, как должное, доктор Арканов,
У нас в дефиците антибиотики.
Своим-то родным их порой не хватает,
Да нужных людей не снабдишь — жди
подвоха...
Ну. девочка при смерти, я понимаю,
Ну что тут поделаешь, все мы под Богом...».
А время считало беду на минуты,
И горе будильник уже заводило.
И жар обволакивал девочку, будто
Она навсегда в этот жар уходила.
Со смертью играть — то ли чет, то ли нечет,
Она не возводит упрямых на царство.
И доктор Арканов, оставшись на вечер,
Украл в поликлинике это лекарство.
Он знал, что срока шьют за это по полной,
И в зоне ему медом хлеб не намажут...
Тот, первый, укол доктор сделал под
полночь,
И утром еще на укол оставалось...
Все в мире меняется волею рока,
Наверное, все в нем не так уж и скверно...

И книги смешные давно пишет доктор,
И девочка та нянчит внуков, наверно.
И тосты звучат в юбилеи привычные.
И дарят бутылки, картины и вещи...
Жаль только, людей меньше стало
приличных.
Жаль, стало врачей сострадающих меньше...

3.

Михаилу Ивановичу Кануге —
когда-то соседу по дому,
отмотавшему в сталинских лагерях
17 лет по 58-й статье .

А в нашем доме инвалид жил тоже.
На первом этаже — а я на третьем.
В его квартире не шумели дети,
Да никого и сам он не тревожил.
Ходил за хлебом с тощею авоськой,
Дымился «Север» — между губ прикушен.
Его не посещали даже гости.
Наверно, никому он не был нужен.
Лишь дед мой заходил к нему порою.
Быть может, поболтать по-стариковски...
Крутил им телик фильмы с Целиковской
В пальтишке довоенного покроя.
И умер дядя Миша незаметно,
Так. в суете обыкновенных буден.
И не был гроб его обит глазетом,
И незаметные за ним тянулись люди...
А надо бы, чтоб в трауре салюты

Рванули тишину, его восславив!
А надо бы, чтоб в том, большом Союзе
Хотя бы на минуту люди встали.
Он был из тех, кто мир до основанья,
Как все они, с безумной верой, рушил...
И был он всех не хуже и не лучше —
Комбриг Гражданской, смявший расстоянья.
А после, на крючок шинель повесив,
Не пробиваясь славой и локтями,
Начальником служил в НКПСе*,
Пока однажды в ночь его не взяли.
И били в кровь, по яйцам, били точно.
Подумаешь, комбриг! Дерьмо, букашка...
Он подписал бумажку за бумажкой,
На протокол выхаркивая почки.
Спасибо, что еще «вышак» не дали,
А только в лагерь навострили лыжи,
Где мертвечину ели, чтобы выжить,
И зэки в лед живьем зимой вмерзали.
Другому бы и малого хватило,
А этому счастливый выпал номер.
Семнадцать оттрубил, и подфартило.
Вождь — тоже человек: взял да и помер.

* НКПС - Народный комиссариат путей сообщения

Ну, инвалидом вышел... Буби — крести...
Иным и эта доля не досталась.
Вон, от жены и фотки не осталось —
По зонам где-то сгинула без вести...
Вот так он жил: не громко, не речисто,
Как будто стертый на портрете глянец.
Ну, разве только в магазин заглянет,
Да в прачечную, да еще в химчистку.
На рынке, говорят, его встречали.
Он кружку брал пивка в шалмане местном.
Ему всегда там уступали место,
По лагерному кашлю отличая.
Нас во дворе он замечал едва ли,
Да нам-то кто он был? Старик соседский...
Мы многое тогда не понимали,
Нам хорошо жилось в стране советской...

Отступление 3.

Остановка «Протезный завод»

Удачу свою, коль пришла, берегите.
Хотя ей кичиться, ей Богу, неловко...
«Протезный завод», — объявляет водитель,
Добавив: «По требованью остановка».

Троллейбус «12», трамвай 23-й,
Она на маршрутах на этих лежала.
Ее проезжали, почти не заметив,
Названьем своим она не раздражала.

Протезный завод... Довоенной постройки
Рядок корпусов неказистых под крышей.
Галдеж воробьев над соседней помойкой,
Забор в разноцветных ошметках афиши.

Что там, за воротами с пьяною вохрой?
Мальчишкой меня это не занимало.
И только светились сквозь грязные окна
Горящие лампочки в четверть накала.

Но в память засела мне та остановка,
С названьем, как боль от пчелиного жала.
И как-то тревожно, и как-то неловко,
Что мимо нее столько раз проезжал я.

А мне бы хоть раз из троллейбуса выйти,
И, может быть, стало от этого легче.
А мне бы тихонько сказать им:
«Простите», —
Всем тем, кто войной был тогда искалечен.

Простите за то, что родился я поздно,
Что целы, как видите, ноги и руки.
Простите за то, что кремлевские звезды
Сияли не вам, обреченным на муки.
Лишь несколько капель на дне поллитровки
Оставили вам те, кто правил державой...
«Протезный... По требованью остановка»...
Водитель, открой!.. Я здесь выйду,
пожалуй...

4.

А вы находили на улице рубль?
Не тот, что сегодня — копейка по форме,
А тот, что обязан хрущевской реформе:
Нашедшему — радость, теряющим —убыль.
Невзрачная вроде бы с виду бумажка,
Но разве расскажешь, как прыгало сердце,
Когда осчастливленный чьей-то
промашкой,
Ты в мир наслаждений распахивал дверцу.
Да к черту ту зелень, что нынче — как
Молох,
Сжирает все силы, не радуя душу.
И ночью за горло и за сердце душит,
Вползая холодным удавом за ворот...
А Клавка пылила в сандаликах ржавых,
И под ноги вроде бы и не смотрела,
Но надо же, рыжая эта шалава
Надыбала рубль, лежащий без дела.
Почти что у входа на рынок валялся...
А нам и копейка иная — за счастье.
Попить газировки пузырчатой всласть бы...

А тут — целый рубль у нас оказался.
И в царство соблазнов вступили мы гордо,
И встретил нас рынок, как знал — богатеи:
Мороженым вкуса цветной карамели,
Ядреным кваском, освежающим горло.
На палочках сласть леденцов петушилась,
В кулечках горбатились семечки кучно.
И рынок звенел: выбирай от души, мол,
Коль выдан судьбою счастливый вам случай.
Ах, трубочек с кремом хрустящая
хрупкость,
Тугие бока наливного шафрана,
Ирисок тягучесть — все нам по карману.
Лишь рубль протяни — и до одури хрупай.
Мы молча взирали на этого богатство.
И Мишка сиял, что привел нас по делу,
И рыжая Клавка от радости млела,
И не было в мире надежнее братства.
О, детства соблазны! Простые, как пряник,
Волшебные сны, что уже не вернутся...
Так просто рукою до них дотянуться,
И каждый пустяк превращается в праздник.
Нас рынок кружил, словно в вальсе
весеннем,
Неведомым чувством пьянящей свободы...

PEMO

И детские прочь уходили невзгоды,
И сами себе мы казались взрослее...
А впрочем, пора бы с рублем и растаться,
С утра ведь во рту не держали ни крошки...
«Мальцы, на пивко не найдется немножко?» —
Вдруг рядом прокуренный голос раздался.
И мы обернулись... Тележка простая,
К бокам ей подшипники кто-то скумекал.
Страх в сердце воткнулся, до пяток сползая,
Когда увидали мы... полчеловека.
Распахнутый тельник, щетина, как терка,
Надвинута кепка на грязные космы,
Дымок папиросины тянется тонко...
А ноги... А ноги... Их не было вовсе!
И враз — словно руки схватили за горло,
И в ужасе мир, показалось, взорвется...
«Ну что, пацанва, на пивко не найдется?» —
Вопрос повторил он почти что задорно.
«Калеке безногому много не надо,
Пивка пропустить бы, с утра нынче маюсь.
Да вы не боитесь, я, бля, не кусаюсь,
Все это война понаделала, падла!»
Из горла сухого, как будто песчаник,
Вдруг грубых созвучий рванулись потоки:
И были слова беспредельно жестоки,

Наотмашь слова те, что плети, хлестали.
Мол, здесь инвалидов, что вошей на теле,
Что плюнули в морду им власти красиво.
А он, всю войну командир батареи,
Теперь вот рублевки стреляет на пиво.
Ни детушек малых, ни крова до века.
А были б сейчас, как и вы, пострелята...
Да сволочь жена отвинтила с пархатым,
И то: на хер нужен безногий калека!
Он, грязь со слезою втирая в щетину,
Рвал сердце свое перед нами, малыми.
И будто на равных мы в миг этот были,
До дна принимая чужую кручину.
...Как праздник внезапно кончается все же,
А правда-то жизни, что делать, похлеще.
Всю горечь ее мы изведаем позже,
Но разве нам станет от этого легче?
И все же, наверно, весомо и грубо
Ее мы впервые в тот день услыхали...
И отдали мы инвалиду тот рубль,
Мы многое в жизни уже понимали...
Он двинул в лачугу с названием «Чайная»,
Мы — прочь по домам, исцелившись от
странствий.
И только сердца колотились отчаянно,

Как будто бы вторглись в чужое пространство.
Там лихо свое за пятак продавали,
И, словно в бою, не просили замены.
Не зря Инвалидным тот рынок прозвали —
Последнюю пристань для немощных телом.
Они тут, бывало, и ночь коротали,
По мелочи крали, по-крупному пили.
Трофейною дрянью вовсю торговали,
Да суку-житуху свою материли.
Там водка лилась пополам со слезами,
Срывая шинель с лицемерия века.
Там жизнь они тонкою нитью связали
С великой надеждою быть Человеком.
Да только вот власть не натешилась, видно,
Она не швыряет на прикупе сдачу.
Снесли в одночасье тот рынок невзрачный,
Который прозвала Москва Инвалидным.
И сгинули прочь христианские души...
Кто помер, кто выслан — к чему воздух
портить...
Они никому не простили обиды,
Да кто бы и стал про обиды их помнить.

Отступление 4.

Отец

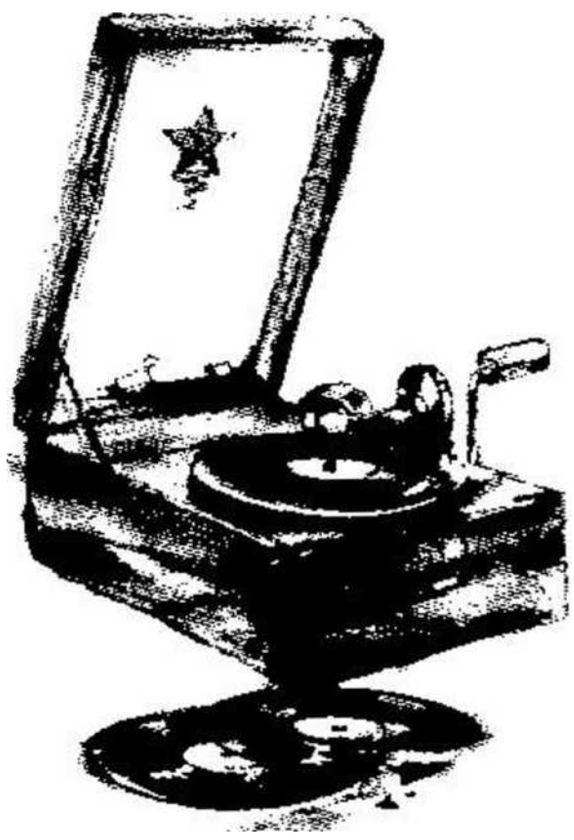
Парикмахерская возле рынка,
Зал на пять расторопных девчат.
Довоенной поры пластинки
Здесь давно уже не звучат.
Все иное — песни и лица,
Только помнится, как юнцом
Заходил я сюда постричься,
Не один заходил — с отцом.
Отражалась в окнах столица,
Репродуктор чего-то нес.
И садился отец побриться,
Я — постричься, под полубокс.
Были с ним мы почти на равных,
Оба двое — два мужика.
Парикмахерша тетя Гала
Тормошила меня слегка.
И машинка скрипела исправно,
Убирая волос волну,
И смеялся отец с тетей Галой:
«Подстриги-ка его «под нуль»!»

Пахло «Шипром» и мыльным кремом,
Запах детских беспечных лет...
Тети Галы уж нет, наверно,
И отца давно уже нет.
Время стаяло звонкой льдинкой.
Что осталось в его конце?
Парикмахерская возле рынка —
Память горькая об отце.

ЭПИЛОГ

Как в партию Сталина, в партию Ленина,
Мы верили юности, верили времени.
В том веке ушедшем, паскудством
пронизанном,
Подвластном распада кровавым
коллизиям.
Отведав и страх, и позор, и бессилие,
Узнали мы горькую силу насилия,
И стыд поражений, и цену обмана,
И власти железную хватку капкана.
Мой век! Далеко ль мне теперь до финала,
Который давно уж страна проиграла,
Оставив и детям, и внукам химеру
Незрячей надежды да зыбкую веру.
Что ж, в прошлое нынче уже не воротишься,
Осталось ночами бессонно ворочаться,
И крошки любви подбирать, словно
с блюдца,
От тех, кто ушли, чтоб уже не вернуться...
И ритмы иные, и лица другие
На кладбище памяти пир учинили,

От горя себя оградив и уродства
Забором железобетонного жлобства.
А там, за заборами, стали ли реже
И беды все те же, и войны все те же?
Давно Инвалидный разрушили рынок,
Но снова приходят с войны инвалиды...
Да что нам о прошлом скорбеть воровато,
Когда мы и сами во всем виноваты.
Мы все инвалиды — ума или совести,
С рукою, протянутой в сторону Сороса!
Давно заигравшись и в левых, и в правых,
Мы веруем идолам прежним упрямо.
Как рыбы, лишившись среды обитанья,
По-новой бессилье свое обретая.
И только в церквях, нашу скорбь осязая,
Иконы святых мироточат слезами...



Литературно-художественное издание

Шварц Виктор Ильич
ИНВАЛИДНЫЙ РЫНОК
Поэма

Редакторы: *Олег Хлебников*, *Алена Шварц*
Художественный редактор *Олег Меркулов*
Технический редактор *Екатерина Воронцова*

Сдано в набор 16.05.2005 г. Подписано в печать 23.05.2005
Формат издания 70x90/з2. Печать офсетная
Бумага офсетная. Уел. печ. л. 1,75
Тираж 500 экз. Заказ 2835

Отпечатано во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, **г.** Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ВИКТОР ШВАРЦ

Поэт, издатель, журналист.
Его перу принадлежит
поэтический сборник
«Зачем стыдиться слез»,
поэма «Мать Мария»,
он автор стихов к мюзиклу
«Кукла наследника Тутти»,
ряду спектаклей и песен.
Заслуженный работник
культуры России.
Член исполкома Русского
ПЕН-центра, лауреат премии
Союза журналистов России.